

Сейчас 72-летний писатель живет на два дома: во французском Биаррице, куда из Америки он недавно перевез семью, и в России, где обитает его основной читатель и герой. Нам удалось поговорить с Василием Аксеновым в его недавний приезд в Москву на презентацию новой книги «Зеница ока», написанной в жанре лирического дневника, где злободневная публицистика соседствует с воспоминаниями о юности, о друзьях: Анатолии Гладилине, Юрии Казакове, Булате Окуджаве, Андрее Синявском, о жизни в эмиграции - словом, обо всем том, что писатель не договорил, не успел рассказать в прозе и эссеистике.

- Василий Павлович, ваше детство и юность прошли в Казани и Магадане. Улица на вас как-то повлияла?

- Конечно. Тогда жизнь подростков протекала в основном в проходных дворах. Изредка получалось пробиться в кинотеатр. Без билета, конечно, - карманных денег почти ни у кого не было. Иногда удавалось стрелнуть покурить у полу-блатных мальчишек, торговавших папиросами по рублю за штуку. Мы сбивались в стаи, которые между собой отчаянно враждовали. Ребята из интеллигентных семей держались друг за друга, развлекались играми в литературных мушкетеров или героев Джека Лондона. В Казани я прожил до 8-го класса. До войны там проживало не больше 200 тысяч жителей, а в войну - два миллиона. Город оказался переполненным: беженцы, эвакуированные вузы, госпитали... Но над всем этим витал странный дух романтики. В двух главных кинотеатрах города, «Унион» и «Электра», работали ночные дансинг-холлы, куда сходились потанцевать девушки и раненые военные. Назначались свидания, завязывались романы. Это захватило и мою старшую сестру-студентку.

А параллельно существовал блатной мир. Его влияние было меньше в Магадане, куда я переехал в 1947 году, когда мама (Евгения Гинзбург, автор знаменитых лагерных мемуаров «Крутой маршрут»). - **АС.** После 10-летнего заключения вышла из лагеря и стала там жить ссыльной. Это был самый центр Дальстроя. Вокруг множество зон. Поэтому милиция и чекисты поддерживали в городе жесткую дисциплину.

- Какие-то случаи из жизни вам потом пригодились для прозы?

- В романе «Московская сага» я описал реальный эпизод: бунт огромного карантинного лагеря, расположенного в четырех километрах от Магадана. Заключенных туда конвоировали из порта. Недалеко от дома, где я жил, находился санпропускник, и они долго сидели на корточках в ожидании своей очереди. Прозевинфицировав, их гнали за город. На этой пересылке эски старались задержаться подольше, ведь оттуда их рассылали по каким-то жутким шахтам. Когда в лагере вспыхнул бунт, эски ринулись на город. И Магадану не поздоровилось бы. Но у бунтовщиков не было возможности для маневра: вокруг сопки и только одна дорога - Кольмское шоссе. Его перекрыла рота автоматчиков и буквально изрешетила нападавших пулями. Немногие оставшиеся в живых эски прибегали обратно в лагерь и легли в койки. «Ничего не знаю, гражданин начальник, я спал», - так неуклюже они пытались себя спасти. Эту историю мне, девятикласснику, рассказал мой отчим, который был в том лагере врачом.

- Такая юность стала для вас положительным опытом в жизни?

- Я предпочел бы другие опыты. Нужные мне знания пришлось самому по крупицам собирать в течение всей жизни. Хотя, сложись все иначе, я писал бы совсем другие романы.

- А случилась ли сильная любовь, следы которой критики могли бы найти в женских образах вашей прозы?

- Не ищите. Хотя увлечения случались, но в сексуальном отношении мы были чудовищно безграмотными и очень инертными: девочки - фригидными, мальчики - неловкими. В отличие от современных подростков, спешащих все поскорее испытать. Но это уже другая крайность. Робкие поцелуи персонажей кинофильмов вызывали тогда невероятное возбуждение. Помню, мы с боем прорвались на какой-то трофейный фильм, где звезда Третьего рейха Марика Рёкк, очень красивая блондинка, мылась в большой бочке, а потом выскакивала оттуда совершенно голая. Зрительный зал пришел в такой экстаз, который не удавалось вызвать даже картине «Падение Берлина». К сожалению, вскоре местная цензура этот эпизод вырезала, но на черном рынке появились его размноженные кадры.

- А почему вы предпочли «распыляться» в медицинском институте, а не где-нибудь на филологическом факультете?

Василий АКСЕНОВ: ПРОЙДЯ УНИВЕРСИТЕТЫ, Я СТАЛ ДРУГИМ ЧЕЛОВЕКОМ



ФОТО ИТАР-ТАСС

- Это было требование мамы и отчима. С отцом-то я не мог видиться, он сидел в лагерях на Печере. У мамы был колымский муж, расконвоированный доктор, которому разрешалось ходить по пациентам, но нечеловек он в карантинном лагере. И они мне внушили: «В лагерях врачи спасаются». Я как сын видных «врагов народа» подпадал под указ, согласно которому меня должны посадить по достижении 20 лет. Я уже учился на третьем курсе и с ужасом ждал ареста. Но внезапно умер Старик Онуфрий, как мы тогда называли Сталина, и все вокруг стало меняться.

От института я часто бывал на практике в больницах, потом четыре года проработал врачом, но пристрастие к медицине так в себе и не развил. Хотя мне нравилось работать руками: резать, шить раны, делать сложные уколы... Дальше всего я продержался в поселке Вознесение, что на Онежском озере. Я там оказался единственным доктором в больнице на 25 коек. Как только открывалась навигация и баржи и лихтеры шли с Каспийского моря в Балтийское, так у нас появлялись «сложные случаи». То подгулявшая матросня выбросит за борт девуку, и ее, кровоточащую от ножевых ран и вдребезги пьяную, нам с фельдшером приходилось вытаскивать с того света. То в местной бане уголовники ради смеха обварят крутым кипятком своего товарища. Часто приходилось оперировать женщин, которым подпольные повитухи делали неудачные аборты. После войны в Советском Союзе аборты были запрещены...

- Но, наверное, больные смотрели на вас как на бога?

- Вряд ли. Однажды я шел на работу и на мостике невольно подслушал разговор двух старушек, принадлежавших к маленькой народности русских вепсов. В языке у них проскальзывали финские слова, сердце они называли «тугонда». Одна говорит другой: «Сказала я нашему мальчонке-дочтуру, что тугонду у меня зажал, он дал таблетку. Бабушка, говори, положи себе под язык. Я положила. И все сняло как рукой. Шибко ученый, видать, малый».

Недавно я плавал на теплоходе по Онежскому озеру. Мимо поселка Вознесение проходили ночью. Было полнолуние и очень светло. Я не ложился спать, стоял

на палубе и вглядывался в береговые постройки. И вдруг осознал, что за прошедшие без малого 50 лет там ничего не изменилось. Ничего! И что бы со мной было, если бы я там остался жить?! Мне стало страшно...

- Медицинский опыт помогает вам, как, например, Чехову или Булгакову?

- Конечно. Моя первая повесть «Коллеги» - о молодых врачах. Абсолютно биографическая вещь, куда я привнес свой личный врачебный опыт. Повесть написана в манере соцреализма и, естественно, пропитана фальшивым оптимизмом. Я никогда больше так не писал и потом долго медицинской темы не касался. Но когда засел за «Московскую сагу», меня вдруг осенила идея: расскажу-ка о врачах. В сталинские времена это была, пожалуй, одна из немногих профессий, более или менее защищенных от преследований до самого 1953 года, когда грянуло так называемое дело врачей-убийц. Я знал, о чем писал.

- После успеха повести «Коллеги» по ней сняли фильм и поставили спектакли во многих театрах страны. А вы бросили медицину и переехали в столицу. Как удалось не погрязнуть в суетной богемной жизни?

- В Москву я переехал еще до публикации. Просто женился на московской барышне. А литературный успех действительно меня ошеломил. Жизнь куда-то стремительно понеслась: выступления, встречи, звонки, бесконечные дискуссии о молодом поколении... Я не всегда понимал, что происходит. В то же время мне претит образ примерного шестидесятника, который все время сидит на кухне и обсуждает проблемы. Я сам был жутким богемником. И едва не стал хроническим алкоголиком. Меня спас письменный стол. Я тогда уже ежегодно выпускал по одной крупной вещи: «Звездный билет», «Апельсины из Марокко», «Пора, мой друг, пора»...

Привычка к многописанию осталась на всю жизнь. Я люблю эту работу. Хотя сочинительство само по себе - довольно муторный процесс. Я знаю литераторов, талантливых и имеющих что сказать, которым очень трудно работается. А со стороны это вообще кажется чудом: садится человек перед листом чистой бумаги и начинает создавать невероятную виртуальную

Василий Аксенов - один из немногих прозаиков-шестидесятников, который остается интересным на протяжении всего своего творчества. Так было с его повестями, сочиненными еще в Советском Союзе, - «Звездный билет», «Апельсины из Марокко», «Затоваренная бочкотара», романами «Ожог», «Остров Крым» и «Золотая наша железка». Так стало с его книгами американского периода: «Скажи изюм», «В поисках грустного бэби», «Новый сладостный стиль», «Кесарево свечение». В прошлом году по его трехтомной эпопее «Московская сага» был снят сериал. А роман «Вольтерьянцы и вольтерьянки» получил литературную премию «Букер - Открытая Россия-2004» и был признан лучшим на XVIII Московской международной книжной ярмарке.

реальность. На своих университетских семинарах в Америке я говорил молодым литераторам: трудно начинать, но еще труднее завершать. Если вы бросаете свои начальные, пусть даже гениальные, 15 страниц и уже не хотите к ним притрагиваться, вряд ли станете настоящим писателем. Незавершенная вещь расслабляет и подавляет психику. Пусть финал будет неуклюжим, но осознание того, что работа выполнена, стимулирует новые замыслы.

- А как вам в 60-е удалось прорваться сквозь цензурные препоны с едкой сатирой «Затоваренная бочкотара»?

- В то время из печатавшего меня журнала «Юность» ушел Валентин Катаев, гениальный, по-моему, и недооцененный писатель. Главным редактором стал Борис Полевой. В первой своей речи он нас успокоил: «Вам, модернисты, теперь будет спокойней жить за моей широкой жопой!» Так и сказал. И действительно, сначала было цензурное послабление. Но потом Полевому наверху стали сильно мылить шее за либерализм. Тут как раз ему под руку подвернулась моя «Затоваренная бочкотара». Рукопись зарубили и вернули мне, всю испещренную его безобразными комментариями на полях. Но сотрудники редакции успели эту вещь прочесть, стали ходить к нему в кабинет и капать на мозги: Борис Николаевич, надо печатать, надо... Полевой сдался. Критика потом не просто разругала повесть в пух и прах, мне шили прямую антисоветчину.

Кстати, это был 1967 год. Хрущева уже свергли, шла вторая «оттепель», о которой почему-то сейчас никто не вспоминает. Новые аппаратчики ЦК показывали, что они люди современные. И Брежнев как-то всех устраивал. Если бы советские танки не вторглись в Чехословакию и не последовала затем политика зажима и закручивания гаек, то, возможно, перемены в стране начались бы гораздо раньше и проходили не так болезненно.

- Когда в 70-х вы участвовали в издании независимого литературного альманаха «Метрополь», то заявили: «В русской литературе идет своего рода колониальная война. Писатели пытаются отстоять автономию литературы, отделить ее от государства, как церковь». Уже 13 лет литература в России отделена от государства. Это ей пошло на пользу?

- Конечно. Слава богу, все уже забыли, что такое цензура, Главлит и отдел по литературе ЦК партии. А то, что обрушились тиражи и обнищали писатели, так это часть мирового литературного процесса. Уверю вас, нигде на Западе вы сегодня не найдете признаков борьбы литературных школ. Массовый читатель уже давно не интересуется литературой как способом самовыражения. Поэзия еще сохранилась как вдохновенное камлание, а самый востребованный жанр прозы - роман - стал просто средством развлечения.

Сейчас на огромном рынке появилась целая поросль качественных и талантливых стилизаторов, как, например, Борис Акунин. Они зарабатывают такие деньги, которые даже и не снились лауреатам Сталинских премий. Не вижу в этом ничего хорошего, но и ничего плохого. Все-таки развлекательная литература лучше, чем отупляющая, какой в большинстве своем была проза соцреализма. Не думаю, что положение сейчас отчаянное. Рынок позволяет существовать и группе писателей, я себя к ним отношу, которые пишут для самовыражения. С этими книгами нужно оставаться наедине, перечитывать непонятую страницу, переосмысливать. Писатель должен быть не властителем дум, а их высвободителем. В читателе видеть соавтора, согероя своих книг. Мы продолжаем традицию серьезного романа, не сильно заботясь об успехе.

- Почему в ваших текстах нередко встречаются крепкие выражения и откровенно матерные слова?

- Я убежден, что русский мат способен обогатить произведение, но может и разрушить. Все зависит от чувства меры и от разных других причин, еще плохо изученных теорией прозы. Я недавно перечитал роман «Московская сага» и задумался над двумя вещами. Как много в экранизации потеряно интересных линий и образов! Авторы сериала почему-то до конца не использовали заложенные в моей прозе кинематографические возможности. Но в то же время слишком часто мои герои позволяют себе лишнее в выражениях. Однако поразмыслив, я понял, в чем дело. Когда пишешь о тех временах, невольно поглощен той стихией, и она не дает тебе соврать или залакировать что-то неприглядное. А язык тех лет возник под влиянием двух мощных институтов жизни - лагеря, через который прошли десятки миллионов людей, и армии, в которой служил почти каждый мужчина. Как общество могло говорить по-другому?

- Преподавательская деятельность в Америке дала вам что-то кроме сносного материального положения?

- Я действительно жил на университетскую зарплату. За 24 года через мои семинары прошло около трех тысяч студентов. Я пришел туда обычным советским писателем, владеющим какими-то клочковатыми, поверхностными знаниями. Все остальное - богемная бравада. Но для настоящего преподавателя этого мало. Я стал изучать серьезные книги по литературоведению, историографии, философии... Это меня сильно изменило, я в буквальном смысле стал другим человеком. Университет - это храм. Он не соврет, не подведет.

- Очевидно, университетская закалка помогла вам в написании авантюрного романа из екатеринских времен «Вольтерьянцы и екатеринки»?

- Конечно. Я перелопатил уйму мемуаров, академических изданий, в антикварных лавках покупал книги XVIII века. Материал собирал три года. Переписка Екатерины II и Вольтера интриговала меня давно. И тогда их письма были похожи на послания влюбленных, хотя они никогда не встречались. Самое сложное было сделать не просто стилизацию под XVIII век, но найти особый язык, манеру «художественного сказа», перемешав слова-анхронизмы с элементами современного разговорного жаргона. У меня долго не получалось, я столько раз порывался бросить эту затею, но потом вдруг все точки над «i» расставились и текст свободно потек. Для себя я такой стиль назвал архаическим модерном или модернистской архаикой. Вольтер мечтал о гармоничном государстве и жутко боялся революций, поэтому тянулся к монархам-либералам. Сначала общался с Фридрихом Пруссским, который заявлял, что не страна должна жить для принца, а принц - для страны. Потом дружил с нашей Екатериной. Она действительно начинала как настоящий вольтерьянец, ее даже прозвали «республиканкой на троне». Но все реформы погубила жуткая по жестокости и размаху пугачевщина. Не дай бог России пережить еще одну такую смуту...

Беседу вел Анатолий СТАРОДУБЕЦ